

## ВАГИФ СУЛТАНЛЫ

## БЕЛАЯ ДОРОГА

По ночам, стоя на веранде, он смотрел на белеющую в млечном лунном свете дорогу. Начинаясь у окраины села, эта белая дорога тянулась в самую глубь полевых равнин. Укладываясь же в постель, закрывая глаза, он видел во сне белого коня, скачущего по белой дороге. Каждую ночь белый конь, мчась в млечном свете луны, удалялся все дальше и дальше. Куда скакал этот белый конь по белой-пребелой дороге в такую светлую ночь? И почему по ночам не видно было конца этой белой дороги и неясным было ее направление...

По ночам, во сне, он боялся, что белая дорога закончится. Страх этот вселился в него с того самого дня, когда в прошлом году председатель Гачай отправил всех колхозных коней на мясо.

... В селе осталось всего-навсего три лошади. Одна — Лятифа. Его лошадь не тронули, потому как Лятиф был единственным пастухом на колхозной ферме, к тому же постарел он совсем и без лошади ему было не обойтись. Другая — охранника Закира. Он сторожил клевер около виноградников, и ему тоже необходима была лошадь, чтобы преодолевать такое расстояние. Третья была лошадью самого Назира-киши. Только Назир-киши ни колхозное стадо не пас, ни клевер не охранял далеко за селом, ни отцовской нужды не знал.

Причина была в том, что был он колхозным кузнецом и за всю свою долгую жизнь ни дня не провел без лошади. В селе все, от мала до велика, знали, что Назир-киши проживет без еды, без воды, но без лошади и часа не протянет.

Назир-киши на селе был не только кузнецом. С чьей бы лошадью чего бы не случилось, вели к нему: "Прошу тебя, уста, посмотри, что с ней". Назир-киши, открыв лошади рот, сначала осматривал ее зубы, затем, раздвинув ресницы, осматривал кромку глаз, потом нагибался, заглядывал под живот, и только после этого определял, что с ней.

С того дня, как лошадей собрали и отправили на убой, старик чувствовал, что председатель Гачай не прочь снести его "кузнечную лавку", но пока не берется за это, то ли оттого, что высоко ценит кузнеца, то ли просто расстраивать его не хочет. Ждет, сам он все поймет. Однако, все понимая, Назир-киши тем не менее знал и то, что, несмотря на возраст, ему тяжело будет остаться без работы, без дела своего, вот и все.

Вечерело. Холодный осенний ветер, безжалостно обрывая желтые листья с деревьев, разбрасывал их по улицам. В голубой небесной пустоте, как сон, как видение, покачивалось белое облако. Назир-киши сидел в своей "кузнечной лавке". Взгляд его был прикован к небу, словно он боялся, что белое облако исчезнет. Топот, донесшийся снаружи, вывел его из задумчивости. Подняв голову, он взглянул в открытое окно, на темнеющий горизонт и на устало возвращающуюся с выпаса скотину. Потом, поиском взглядом, снова нашел кусочек облака, на который смотрел.

Он напряг легкие. Так затянулся папиросой, будто навсегда лишался ее. Дыма папиросой, он вновь задумался, и мысли его уходили все глубже и в тех глубинах разматывались, словно клубок, и он не мог найти уже ни начала их, ни конца.

Наконец, он тяжело поднялся с места. Снял с вешалки, надел свою старую, выцветшую куртку. Тяжело заперев двери, направился к дому.

Назир—киши постарел. Но сегодня не старость беспокоила его. Эта беда уже состарилась вместе с ним за долгие годы. Не думал он сегодня и о бездетности своей, потому что и это горе он давно похоронил в сердце своем, очень давно. Даже рана той боли уже заросла и забылась.

Целую неделю он ничего не делает. Было время, дотемна не сгибал он колен, в день по тридцать—сорок коней подковывал. А теперь? Разве что проезжий всадник иногда заглянет к мастеру за чем—нибудь, да изредка из соседнего села кто—нибудь наведается.

... Вот эта—то печаль и съедала живо старика.

В ту ночь до утра он не смог уснуть, будто на иголках спал, что вонзались в его тело. Лишь под утро слегка задремал.

И снова в молочном свете ночи мчался белый конь по белой дороге. А кто тот парень на белом коне в белой чухе? Как же обнимает он лошадиную гриву...

... Вдруг и белый конь, и парень в белой чухе растаяли в молочном лунном свете. Что потом ему привиделось, что вскочил он с постели и торопливо позвал жену Зяриш:

— Старуха, старуха, подай мне брюки, гнедого увели.

Зяриш безмолвно спала, и на мгновение старику показалось, что она — ребенок, несмышлениш, в душе ее не нашли себе места пока ни горе, ни печаль, потому что только такой несмышлениш может спать так тихо и спокойно.

Но Зяриш проснулась. Проснулась и ничего не поняла. Она решила, что его мучает кошмар или же сошел он с ума.

И Зяриш испугалась. Испугалась сидящего в белом белье в углу на кровати мужа, с которым столько лет ложилась в одну постель. Будто кипятки ей на голову вылили. В одно мгновение перед глазами у нее пронеслось столько причудливо—странных картин. В одной из них Зяриш увидела, как жена Гара Самиды Ерга—Сона, подхватив подол, вышла на село, и, бегая туда—сюда по улице, кричит:

"Эй, люди, Назир—киши с ума спятил, Назир—киши стал сумасшедшим, сумасшедшим, сумасшедшим..."

— Старуха, старуха, почему ты дала увести гнедого, позволила дом мой разрушить?

Зяриш снова промолчала, уставившись на рот мужа. Она пока ничего не понимала, и в ушах ее стоял крик жены Гара Самиды. Этот крик, ударившись о скалу, о камень или о гору, рассыпался эхом:

"Эй, люди, Назир—киши сошел с ума, сошел с ума, сошел с ума..."

— Старуха, старуха, чего молчишь, не с тобой ли я? Зачем отдала гнедого, зачем дом мой разрушила, старуха?

Зяриш вдруг пришла в себя:

— Да что за гнедой, кто увел, когда, что ты говоришь, лошадь тебя лягнула или что...

— Старуха, старуха...

Назир—киши, оттолкнув старуху в сторону, в белом исподнем вышел во двор.

Ночь была лунной. Белели в млечном лунном свете дороги, идущие от окраины села в самую глубь поlynных равнин. Но теперь старик даже не взглянул на белеющую дорогу.

Глаза его, торопливо поискав в млечном лунном свете гнедого, нашли его. Гнедой спокойно щипал траву. Сердце его забилось, он обрадовался как ребенок. Радовался, что не увели гнедого, что он во дворе.

Раздетый пошел он к яслям. Обняв теплую шею гнедого, заплакал, потом поцеловал коня в морду, в глаза, погладил спину, гриву.

Старик подумал, что гнедой счастлив и беззаботен, не вмешивается в дела мирские, опустив голову, живет себе бездумно. Мир перевернется, а ему все нипочем.

И, поглаживая конскую гриву, посмотрел он на белеющую в лунной ночи дорогу. Будто боялся, что она закончится. Он и сам не понимал, как вдруг появился этот страх, вошел в кровь и мозг его. Дороги тянулись, тянулись и таяли в темноте. Всякий раз, глядя на эти дороги, старик вспоминал свои детство и юность. Ему казалось, что дорога напоминает жизнь человеческую. В мире есть много вещей, коим нет конца. Есть и дороги бесконечные. Пусть и не встречал старик такой дороги, но и представить себе не мог. А дорог, имеющих конец, знал он множество. Вот и конец белеющей сейчас в темноте дороги хорошо был ему известен. Он знал, что дорога эта заканчивается у кладбища за селом. И по ночам во сне он побаивался такого окончания белой дороги.

Наутро Назир—киши не смог подняться с постели и три дня после этого пролежал на одном боку. Ровно три дня старик горел в лихорадке. Будто костер разожгли у него внутри. Его мучили путанные сны. Просыпаясь, видел он Зяриш у кровати. И каждый раз взгляд его скользил по лицу ее, волосам и останавливался на глазах. Глаза Зяриш были печальны, сузились от горя, устали от ожидания. Глядя в глаза Зяриш, встречаясь с ее грустным взглядом, он почему—то чувствовал себя виноватым.

В тот вечер собрались у них родственники, соседи. Гости расселись вкруговую прямо на расстеленном на полу паласе. Пили чай, стаканчики—армуду то и дело опустошались и вновь наполнялись чаем. Попивая чай, вели беседе. Мастер Кямал не умолкал: говорил о сельских происшествиях, о том, что было и чего не было, о чем только не говорил. Иногда он поворачивался к Назир—киши, проверяя, слушает он его или нет. Вообще—то, для мастера Кямала не имело значения, кто слушает его. Лишь бы ласулы. Все собравшиеся здесь знали, что, если позволить, Кямал будет говорить до утра не зная усталости.

Когда гости разошлись, Зяриш осторожно прибралась, вымыла стаканы, поставила их на полку, влажной тряпкой протерла стол. Покончив со всем этим, выключила свет и легла рядом с мужем. По привычке, сложившейся еще с давних лет их женитьбы, она каждую ночь, после того, как муж ложился в постель, прибиралась, выключала свет, ложилась рядом, тихонько его окликала и, услышав в ответ его голос, прижималась к нему.

Вот и теперь она позвала его:

— Спишь, Назир?

Но Назир не отзывался.

Она положила руку на его волосатую, с выступившими костями, грудь. И Зяриш показало, что потек в нее жар далеких, сладких молодых лет. Жар, исходящий от груди Назира, растекался по пальцам ее, по рукам. Но до груди Зяриш он не дошел, до сердца не дошел, иссяк, не дойдя до них, оборвался в какой—то точке ее существа.

Поискав, нашла она руки мужа. Они были ледяными. Зяриш вдруг вздрогнула, от мысли, пришедшей в голову, волосы встали дыбом.

В тусклом свете лампы поднялась она и, дрожа, заглянула мужу в глаза. Веки его были приоткрыты, зрачки закатились. Потом она приложила ухо к груди мужа. И вдруг Зяриш вскрикнула как безумная.

Во дворе ржал гнедой, бил о землю копытом. Резко дернув головой, сорвал веревку, которой был привязан к столбу у яслей, и высвободил шею. Толкнув головой плетеную калитку, выбежал на дорогу и понесся по ней вскачь.

Потом появилась луна. Берущая начало у окраины села, тянущаяся через поlynные равнины белая дорога утонула в млечном свете луны.

## ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Казалось, что это совсем не та дорога, по которой ходит он каждый день. Холодные тротуары, каменные здания, электрические столбы, — будто разрозненные картины давным—давно забытой сказки в далеком тумане памяти. Это похоже на то, как

если всю жизнь ходишь ты в крошечной тьме по одной и той же дороге, и глаз твоих во тьме той не касается ничто, кроме сумрачной черноты. Но если однажды проведут тебе по ней при свете дня... Все здесь будет видеться тебе как в первый раз.

Внезапно духота, будто втянув в себя с улиц пыль, швырнула ее в стены домов, балконов. Точно невиданных размеров рука в одно мгновение вымела, вычистила полностью и улицы, и асфальтовые тротуары.

Ему стало не по себе, захотелось перейти на другую сторону дороги. Тяжело шагая, свернул он налево. И вдруг... от резкого, пронзительного звука сигнала он вздрогнул и поднял голову. "Москвич" голубого цвета тормозил прямо рядом с ним. С заднего сидения машины послышался женский крик, и шофер тут же, высунув в окно голову, стал выплескивать на него весь свой яд.

— Негодяй ты эдакий, дорогу переходишь, так хоть по сторонам смотри... Именно на нас решил кровь свою пролить на ночь глядя?

Кровь ударила в голову, со скрежетом стиснул зубы, но смолчал, не смог слова выговорить, нутро рвалось на части. Хотел пройти вперед, но ноги будто к земле приросли. Он совсем растерялся.

— Эй! Я с тобой говорю... чего не отвечаешь?

Он ничего не видел, ничего не слышал, словно, вращаясь, опускаясь в точку невесомости мира и не мог освободиться от ее притяжения.

— Да он глухой.

Машина, свернув вправо, быстро удалилась. И вмиг он покрылся холодным потом. Пальцы непроизвольно сжимались и разжимались. Он заложил руки в карманы, потом вынул и снова опустил их туда. Ему стало казаться, что руки мешают телу, он не находил им места. Почувствовал, что вся злость его и ненависть из сердца перетекла в руки, собралась в сжатых пальцах, и, если он не швырнет ею кому-нибудь в голову, в висок, пальцы его никогда не разожмутся, он не найдет места своим рукам, так и останутся они лишними для его тела.

Он остановился у серого каменного пятиэтажного дома. Темнело. Светились все окна, кроме его. Каждый вечер, возвращаясь домой, он думал, что утром, выходя из дома, оставит гореть свет, и каждый раз отчето-то забывал сделать это.

Домой он не пошел, не смог пойти. Что ему делать в пустых комнатах... Да и можно ли сидеть среди голых стен в такую погоду?

В воздухе чувствовалось дыхание холодного осеннего ветра. Машины сновали туда-сюда. Фонари на улицах, люминесцентные лампы слепили глаза. Но свет их был холодным, очень холодным. Впервые с самого раннего детства видел он такой холодный свет. Чувствовал, как холод этого света проникает в мозг и кровь его, бросает в озноб, заставляет ныть кости.

Он не знает, куда идет, и в этот час, в эту минуту для него, действительно, не имеет значения, куда он идет.

Пройдя по безлюдным улицам, он направился к морю. Ветер усиливался. Прибрежный парк опустел, не видно было никого на скамейках. С моря доносился странный, пугающий гул.

Он свернул к ресторану, хотелось отвлечься, выпив пару рюмок. Хотелось как-то пережить этот тяжелый, изматывающий вечер своей жизни.

В ресторане оказалось четверо посетителей. Он сел за один из пустых столиков в углу, заказал бутылку водки... Выпил, до самой ночи пил. Но на этот раз и водка почему-то не оказывала своего обычного действия. Будто это была не та водка, которую пил он каждый день, а какая-то горькая темная жидкость. Снова попросил водки... и снова выпил. Когда ресторан совсем опустел, поднялся и тяжелой поступью пошел к двери.

В нетвердой памяти постепенно стали всплывать воспоминания о Сюзан. Сегодня исполнилось ровно два года, как он с ней расстался.

Он опустился на старую, облупившейся краской, скамью. В море одна другая гнали волны. Издалека, с острова Нарген, долетали сюда точечные вспышки света.

"Видишь ли, Сюзан, мне ребенок нужен, ребенок, в этом доме должен же будет кто-то после меня зажигать свет или нет?"

Сюзан не отвечала, беззвучно плакала, вспоминала день, когда они познакомились. Откуда тогда ей было знать, что настанет день, и судьба от нее отвернется, сердце человека, любовь ее к которому была безмерна, обратится в камень, и мольбы ее не тронут того сердца, что становилось шелковым от одной ее улыбки. Откуда было знать...

"Знаешь, Сюзан, по мне, так мы никогда бы не расстались, но ты войди в мое положение. Я ведь не могу отказаться от всей родни из-за тебя..."

Сюзан молчала, тихо складывая вещи в чемодан. Она уже не плакала, слезы пятнами высохли на щеках. Длинные волосы ее рассыпались по плечам, спине. Грудь вздымалась и опускалась, она не могла подавить всхлипы. Губы дрожали, как листочки мяты.

"Видишь ли, Сюзан, даже не знаю, как объяснить тебе, в чем я-то виноват... Ты сама подумай хорошенько..."

Ветер все усиливался. Одет он был легко, и потому теперь зуб на зуб не попадал. Издалека, со стороны морского вокзала, доносились отрывистые свистки отчаливающих пассажирских судов.

До полуночи оставалось немного. Поднявшись на ноги, он тяжело двинулся в обратный путь.

Вспомнила мать, он чуть не плакал. Пообещал себе этот отпуск провести в селе и тотчас же почувствовал, что пообещал не от души, так что обещания того никогда не исполнит.

Тяжело стал подниматься по лестнице. Кто знает, в который раз за свою жизнь он то с надеждой, то безнадежно поднимается по этим ступеням. Ноги его не слушались, водка сделала свое дело. Он схватился за перила. Раз, два, три, четыре... Он стал считать ступеньки. Интересно, сколько их до пятого этажа? Почему до сих пор он не сосчитал их? И с чего вдруг это пришло ему в голову?

Сердце так стучало, будто сейчас выскочит из груди и распластается под ногами. Одолев последние ступени, остановился. Он задыхался. Нажал кнопку звонка, изнутри послышалась приятная музыка. В первый год женитьбы он привез этот звонок из Москвы, Сюзан он очень нравился.

Подождал, никто не отозвался. Он всегда, позвонив, ждал, когда услышит приближающиеся шаги Сюзан, чтобы позвонить еще раз. Одновременно со словом "Иду"

Сюзан распахивала дверь. Как только дверь открывалась, он обнимал ее здесь же на пороге, целовал в лицо, губы, а потом, подняв на руки, как легкую тростинку, нес к дивану:

— Чем сегодня занималась?

— Ничем.

— Что приготовила поесть?

Она нарочно качала головой, то есть "ничего".

— Тогда съем тебя саму.

Сюзан:

— Не сможешь, — и выскользнув из его объятий, прижав руки к груди, как птицы, на цыпочках, улетала в другую комнату. Он догонял ее, обнимал, путал волосы, рассыпая по лицу.

И целовал, целовал...

Позвонил еще раз. И снова послышалась приятная мелодия. И опять он терпеливо ждал. Но никто не отзывался изнутри. Он знал, что там никого нет, и звонит он впустую; знал, что хоть день и ночь стучи в эту дверь, никто не откроет. Знал, что дверь эта заперта по-иному. Не так она заперта, чтобы открыть ее было легко. И все же где-то в тайных, недостижимых глубинах сердца своего не мог он в это поверить.

Еще и еще раз нажал он кнопку звонка. Потом приложил ухо к замочной скважине. Только не услышал он ни звука, ни шороха. Больше ждать он не стал, начал колотить в дверь кулаком. Удары наносил как придется.

Крича, звал Сюсан:

– Открой дверь, Сюсан, открой, открой... Молю тебя, открой дверь, открой...

Ему казалось, что Сюсан спит, вот-вот проснется и сонная откроет дверь. Ничего не скажет, лишь выразительным взглядом проводит его от порога до вешалки. Потом взгляд ее смягчится. И взгляд этот скажет: ну, почему ты так поздно приходишь домой, бессовестный, разве я не человек... До каких пор я буду сторожить голые стены. До каких пор... А что потом скажут взгляды. Сюсан...

Постепенно руки его слабели, пьяное тело теряло выдержку, силы. А он все звал Сюсан, просил, умолял:

– Открой дверь, Сюсан, открой... Умоляю, Сюсан, открой дверь, открой...

Уставшие руки его онемели, ослабились, соскользнули с ручек двери, колени подкосились, и камнем рухнул он под дверь.

Это в самом деле не похоже было на сон, будто подпал он под странные, чудные чары. Куда ни поворачивал, наткнулся на запертую дверь. Странным было то, что закрыты они были глухо, и что ни делал он, открыть их не мог. Эти двери были ему знакомы, были родными, когда-то и где-то он открывал эти двери, только вспомнить не мог, когда и где. И видел он, что все двери мира, которые он знал, закрыты перед ним..

Когда он пришел в себя, до утра уже оставалось немного. Ледяной холод каменного пола разбудил его пьяное тело. Руки, ноги от холода одеревенели. Дрожавшими руками он достал ключ, но дверь открыть не смог, рука не поднялась. Положил ключ обратно в карман. После такой ночи не найти ему дома покоя.

Осторожно стал спускаться по ступенькам. Голода он не чувствовал, но жажда сжигала его. Спустившись во двор, припал к железному крану и напилися вволю ледяной воды.

Сел на тротуар во дворе. Снял с себя пиджак; он был весь измят и вывалил в пыли. На работу идти в таком виде было нельзя, непременно нужно было вычистить его. Водой оттер места, запачканные пылью и известкой, но на себя надевать не стал, это было невозможное, пиджак был мокрым.

Посмотрел на небо. Было время, стояли они с Сюсан здесь во дворе и часами любовались звездами. Небо и сейчас было звездным. Но холодно поблескивающие в вышине звезды, постепенно теряя свой свет, угасали.

Светало.

## ЧУЖОЙ

"...Возьмите эти деньги, люди, купите мне буханку черного хлеба..." – слова, терзающие, рвущие на части все его существо, все самолюбие его, и, куда бы ни шел он, куда бы ни направлялся, они попадали ему под ноги, как камни на дороге, он спотыкался о них и падал. Ужас этих слов, как неизбежное горе, как боль, осел у него внутри и что бы ни делал он, от этого горя, от боли этой не было ему спасения.

Он сам себя не узнавал. Будто чужой, незнакомый человек смотрел на него из окна автобуса. Он изменился, начиная от волос до цвета лица. Как будто видел себя в первый раз. Ему казалось, что и сердце, и мозг его переселились в чье-то тело. Эти тело, голова, лицо – чье-то чужое. И в этом чужом теле сжимались сердце его и мозг. Он и не знал, что так далеко и отчужден от самого себя. О том, что душа, характер постепенно меняются, он был слышан, но осознать то, что неизвестно чужой может стать внешность, он никак не мог. И как ни старался, никак не мог убедить себя в этом. Ему казалось, что он понятия не имеет о том, что случилось. Он не мог поверить, что это ужасное событие зародилось и выросло в его мозгу. Потому как в памяти его ничего не было. Словно то, что произошло, было задумано кем-то другим. Он же просто, не задумываясь ни о сути происходящего, ни о последствиях, был бездумным исполнителем. В этом деле нет его вины. Абсолютно! А если так, кто же тогда виноват?

Сможет ли он когда-нибудь покончить с потоком этих неясных вопросов? Как случилось, что однажды ему повстречалась старуха Ханымниса, что протянул он ей руку помощи, дал согласие поселиться у нее? То неудачное августовское утро, пять лет назад, когда все это началось, – один из самых горестных дней его жизни – он помнил так, как будто это было вчера.

В тот день будто рок навис над ним, он проснулся позже обычного. Всегда поднимался он спозаранок и завтракал дома. Но в то утро позавтракать дома он не успел, иначе опоздал бы на работу; наспех одевшись, вышел из дома. Не пройдя и двух улиц, повстречался с этой старухой. Стоя у окна, она умоляла прохаживать ей хлеба. Если бы он позавтракал, может, и не обратил бы на старуху внимания. Он вдруг подумал, что если каждый так же горопитается, и никто не остановится на просьбу этой старухи, что еле держится на ногах, то она весь день будет голодной. О, господи, откуда в людях это безразличие к ближнему?

И он остановился у окна.

Старуха, заметив, что кто-то услышал ее, обрадовалась, как ребенок:

– Сынок, умереть мне у ног твоих, – сказала она и протянула ему медные монеты, зажатые в руке, – возьми это, и принеси мне буханку черного хлеба из магазина.

– Сейчас, – сказал он и, не взяв ее денег, бросился к хлебному магазину в двух кварталах отсюда.

Он хорошо помнит, как сбегал в магазин, вернулся и, не найдя старухи у окна, вошел в дом, увидел ее лежащей на кровати, тяжело дышащей, – словно это было сегодня. Помнит ужас свой при виде грязного стакана с горячей водой на столе, рваные обои, цветом сливающиеся с штукатуркой, деревянный потолок, затянутый паутиной...

Оставив хлеб, он вышел.

Всю дорогу он думал о том, что нужно после работы купить старухе продуктов, привести дом ее в порядок.

"Господи, ну что это за жизнь такая, что за существование! В доме нет даже чая, пьется просто кипяченая вода. Как пробавляется эта несчастная одним лишь хлебом, который и купить-то некому?"

В тот вечер после работы отправился он на базар. Накупил всего, от чая с сахаром до фруктов.

При виде его будто свет засиял в глазах старухи, землистый цвет лица ее просветлел. Он помог сесть, подложив за спину подушку.

– Сынок, да буду я жертвой твоей, зачем ты себя так утруждаешь, мне так неловко, в моем-то возрасте, – причитала со слезами старуха, не останавливаясь.

– Пусть врагам твоим будет неловко, бабушка, – сказал он, – не стоит беспокоиться...

В тот вечер он навел в комнате порядок. Грязное вымыл, убрал, приготовил обед. Накормил старуху, напоил и вернулся в общежитие. И с того дня стал навещать старуху.

У старухи Ханымнисы никого не было, и жила она одна. Мужа у нее не было всю ее долгую жизнь. Только, взгрустнув, говорила: "У меня есть муж, он придет, обязательно придет... Сорок лет жду Джамиша, он придет..."

И однажды, узнав, что он живет в общежитии, старуха сказала:

– Переезжай ко мне жить, сынок, в общежитии тяжело. Вижу, ты умный, сознательный парень. Переведу квартиру на тебя, а ты будешь мне как сын, никого ведь у меня нет. Сегодня я есть, а завтра уж и нет меня. – И будто запямятовав, старуха добавила: – Боюсь, боюсь не вернется Джамиш, глаза уж слезятся, его ожидаючи, ровно сорок лет меня обманывает...

В тот же вечер, собрав все свое добро – чемодан с вещами, постель, – он переехал к старухе, что тоже помнит хорошо.

– Ничего от тебя не нужно, сынок. Ни копейки твоей. Но умоляю, похорони меня, как положено, будто, не дай Бог, родную мать хоронишь. Прими слова эти как наказ, и, кроме этой, других просьб к тебе нет.

Вначале он слегка отремонтировал дом: оклеил стены обоями, покрасил потолок, после, по мере того, как появлялись у него деньги, обновил обстановку кухни и ванной. И все это делал с таким удовольствием, от души, будто был здесь хозяином.

В городе он стоял в очереди на квартиру, но ему казалось, что и через двадцать лет он ее не получит. В какие только двери он не стучался, добиваясь квартиры. И когда-то, постепенно утратив надежду обзавестись здесь жильем, незаметно для себя, сдался этому большому городу. "... Будто на роду им было написано с трудом продвигать любое дело... Боже, ну что такое эти четыре стены... В огромном университете преподаешь, кандидатом наук являешься и не имеешь даже хибары, что называлась бы домом твоим, пристанищем. Даже у собаки, и у той есть крыша над головой, есть приют... Если завтра умрет он, и поминок не справят, какие поминки по квартирантам..."

В памяти его, как сон, всплывали слова, сказанные им в лицо председателю, когда он в последний раз, пытаясь получить квартиру, был на приеме у Зейналлы.

Первое, о чем он подумал, едва переступив порог приемной, — сколько же семей можно здесь разместить, если отдать приемную под квартиры? А в городе вон сколько таких рабочих кабинетов... Кто переночевать четырех стен не находит, а кто-то, не довольствуясь такими удобными, просторными салонами, ищет еще больших, более красивых. Раздумывая таким вот образом, вдруг обнаружил себя сидящим на стуле напротив председателя. При виде угрожающих глаз председателя и сверкающих, уставившихся на него глаз сидящих с ним рядом, ему показалось, что он на скамье подсудимых и сейчас будет обвинен в каком-то тяжком преступлении.

— Слушаю вас!

Он растерялся оттого, что слова эти были сказаны по-русски. Так растерялся, что забыл, где он, и с какой целью здесь находится. Наконец, придя в себя:

— Прочтите мое заявление, я там все указал.

В полминуты пробежав глазами заявление, председатель сказал:

— Просьба ваша в том, чтобы предоставить вам квартиру вследствие того, что в связи с отсутствием таковой вы ночуете на вокзале. Ничем не могу помочь. Квартиры в городе предоставляются только в порядке очередности.

И эти слова тоже были сказаны по-русски. Не сдержавшись, он предложил:

— Давайте будем говорить на родном языке, товарищ председатель.

Председатель, будто не слыша его, нажал кнопку:

— Кто следующий...

Видя, что он не поднимается с места, председатель опять же по-русски спросил:

— Вы не понимаете сказанного?

Он и сейчас удивляется тому, как, откуда взялась у него внутри эта сила, этот толчок:

— Я-то понимаю, это вы не понимаете! И не сможете понять! Откуда вам знать, что такое бездомность, товарищ мэр!.. Пяти комнат вам мало, так вы еще и на даче выстроили себе хоромы. Вы даже еще не родившимся внукам и правнукам уже заготовили жилье. Как же вам меня понять. Полжизни своей я прожил квартирантом, вам же не известно, что значит — жить на квартире, товарищ мэр!..

Слово "мэр" пулей ударило председателя, и от неожиданности получить такой удар от сидящего перед ним человека он застыл... Его с трудом вывели из кабинета два милиционера. "Как случилось, что все это не возымело ужасных последствий. Ведь после брошенных в лицо председателю слов тех гораздо легче было вслед за тем свырнуть в него стулом, кожаной папкой, что была у него в руках".

Жена его, уходя с двумя детьми и оставляя его одного на съемной квартире, сказала: "Будь ты мужчиной, у тебя был бы дом, квартира. Открой глаза, оглядись вокруг, посмотри, как люди живут. За десять лет ты сменил пятнадцать квартир, даже одной комнаты получить не смог. Да покроется пеплом голова такого мужчины, как ты. Я и свадебные золотые украшения продала, чтобы платить за квартиру. Люди чуть ли не

каждый год квартиры покупают, а ты..." Дальнейшего он уже не помнил, кроме ядреного ругательства после всех тех слов.

... Чем же иным, как не подарком судьбы после всех тех событий, явилось то, что старуха Ханымнися перевела свою квартиру на его имя. И у него в городе будет теперь квартира, у него будет адрес. Может, и семья его, раскаявшись, вернется. Верно говорят, бедняку должно везти, иначе ему не прожить.

В селе он сказал лишь то, что получил квартиру, родственникам же, пожелавшим приехать, посмотреть ее, отказал, сославшись на ремонтные работы. Три-четыре месяца так называемого ремонта обратились в три-четыре года. Старуха же все не умирала. Со времени его переезда она не вставала с постели. Каждый день он готовил чай, еду, завтракал сам, приносит чай старухе, оставлял рядом с ней обед и уходил на работу.

Поначалу он все это проделывал с особой охотой, получал удовольствие, обслуживая старуху, наводя порядок в своем будущем доме. Но постепенно все это стало надоедать ему.

К этому ужасному решению он пришел как-то душным летним вечером, когда пил во дворе чай со студенческим другом своим Валехом. Наигравшись в тот вечер в нарды, сидя под инжировым деревом, они устали. И сидя в тени дерева, попивая чай, беседовали.

— Гадир, а Гадир! — донесся изнутри голос старухи.

Не поднимись он, она и сто раз на одном дыхании скажет: "Гадир". Он пришел в комнату. Она хотела чаю; он отнес и поставил перед нею пилалу с чаем.

Не успел присесть, как снова послышался ее зов:

— Гадир, а Гадир!

— Тьфу! — он выругал себя, — не хватало тебе, дураку, дома! И как я связался с этой старухой... Разве умрет она когда-нибудь? Один Аллах знает, сколько таких, как я, она вначале подмаслила, а потом, замучив, свела в могилу...

Валех смеялся.

— Тебе и этого мало. Думаешь, легко дом получить?

Старуха в доме продолжала работать.

— Пойди посмотри, что она хочет.

— Пусть хоть умрет, не пойду. Хоть криком изойдет.

— Имей совесть, сходи взгляни...

Ругаясь, он вошел в дом и молча встал в ногах кровати.

— Чего не откликаешься? — спросила старуха.

Он не отвечал, не было уже ни сил, ни терпения.

Сквозь землю готов он был провалиться, выходя из комнаты с тазом. "Какая твоя собака заблудилась в этом городе, скажи? Дом как дом стоит у тебя в селе, комнаты, двор — что площади, хоть на коне скачи. А ты прилип к лачуге старухи Ханымниси, считаешь дни, когда она прикажет долго жить..."

Многие друзья его, знакомые знали, что у него есть дом. Но как дело обстоит в действительности, им он не рассказывал. Домой никого не приглашал, чтобы не спрашивали, кем приходится ему старуха. Как объяснить им, что все не так. Ему просто стыдно было это все обнародовать.

Как случилось, что эта ужасная мысль пришла ему в голову. Ведь старуха ничего плохого ему не сделала, то и дело ласкала слух его добрыми словами в его адрес, беспечила жильем в городе, где так трудно его добиться, убрала с его пути препятствие, которое он считал самым трудным, чтобы жить в городе по-людски. Как же мог он вместо благодарности согласиться на голодную смерть этого человека... Как позволила ему это совесть его... что люди скажут... Даже если не узнают, как укрыться ему от себя, от совести своей... Словно все то хорошее, душевное, что жило в нем с самого детства, вдруг исчезло. Что ни делал он, не вернуть было ему всего этого.

Вроде четыре года, как нет у него известий ни от жены, ни от детей, даже, где живут они, он не знает. По ночам лица дочерей неотступно стоят у него перед глазами;

он грызет себя изнутри, злясь на свое бессилие и отсутствие возможностей. Находит утешение лишь в фотографии, снятой в один из счастливейших дней жизни их семьи, которую постоянно носит с собой в нагрудном кармане пиджака.

Беспокоило его и то, что в последнее время ему часто снилась мать. Она являлась в виде столетней старухи. Будто не видел он, что мать до сей поры одна на своих плечах несет тяжкий груз дома, семьи. Теперь, ухаживая за старухой Ханымнисой в течение этих четырех лет, он осознал, что значит сыновний долг.

Постепенно ему надоел и дом этот, и двор. Сменялся день за днем, и терпение его иссякало, сил не было уже ждать ее смерти.

"... Сколько человек может мучиться, нуждаться?! Год, пять, пусть даже пятнадцать лет... Неужто всю жизнь он должен быть пленником нужды, о небеса? Ему тридцать два, один Аллах знает, сколько лет еще ждать ему смерти старухи. А после, не прожив пяти или десяти лет, ложись и умирай. Тьфу..."

Взяв отпуск, ничего не сказав старухе, он уехал в район, решив: будь, что будет.

... Оставляя больную старуху одну дома, запирая дверь, отправляясь в село, он хорошо знал, чем кончится все это. Отчего же теперь вдруг мысли о смерти старухи так неожиданны для него? За тот месяц, что провел он в селе, не было ночи, чтобы старуха не приснилась ему во сне, не лишила его покоя.

Всю дорогу думая о том, как он откроет дверь, войдет в дом, наткнется на разлагающийся зловонный труп ее на кровати или на полу, как под инжиром во дворе в вечерних сумерках будет в последний раз все обдумывать, он почти сходил с ума. И всякий раз ему казалось, что старуха, упав с кровати, подползла к двери, там и умерла. Смерть старухи именно так отпечаталась в его мозгу.

Он ждал до темноты, отчего-то не решился подойти к дому при свете дня.

... Улица перед домом по-прежнему кипела. Торопливо шли люди. Он двигался как во сне, как по воздуху, не касаясь земли.

Издаലെка увидев стоящую перед окном старуху, не поверил своим глазам. Как и в первый раз, когда он ее увидел, зажав в руке медные деньги, она умоляла прохожих:

– Возьмите эти деньги, люди, купите мне хлеба, черного, буханку...

## ПО ТУ СТОРОНУ ВЕРШИНЫ

Приподняв голову с подушки, Сары-киши взглянул на играющие в оконном стекле лучи вечернего солнца. От сильной боли он весь день корчился и извивался в постели, как змея. Сейчас его больше всего пугало наступление вечера. С приходом темноты боль усиливалась, страх и ужас предстоящих мук иглами вонзались в тело, во все существо его.

Стояли последние дни осени. Склоны Бабадага, тронутые первыми холодами, покрылись бурными пятнами. Туман, лежавший чуть выше, становился все гуще, отчего вершина горы терлась в небесной лазури. К ней и был прикован взгляд старика, ничего вокруг не замечавший. В последние дни в доме своем отчего-то не находил он себе места, в собственном доме чувствовал себя чужаком. Смерть кружила, одолевала его у него же на глазах и, что ни делал он, не мог вырваться из ее острых, горячих когтей.

Тихонько позвал жену Сару, дремавшую у порога:

– Старуха, эй, старуха...

Широко раскрыв спросонок глаза, старуха Сара проворчала:

– Опять и спина у него открыта, и голова не покрыта...

Сары-киши остановил ее жестом руки:

– Готовь, старуха, мою одежду, чарыги, отправляюсь завтра с утра пораньше в путь.

Старуха поразилась:

– Сары, ты ведь еле дышишь, о каком таком пути толкуешь, или лошадь тебя копытом ударила, или еще что?

– Ты мне, старуха, не перечь! – сказал Сары-киши и тяжело отвернулся к стене, натянув на голову одеяло. Старуха Сара же оттого ли, что знала характер мужа, с которым прожила шестьдесят лет, от категоричности тона ли его, отчего-то смолчала, растерянно застыв на месте.

В душе старика внезапно проснулось желание подняться на вершину Бабадага. Бабадаг был для него самой высокой вершиной мира; подняться на вершину этой горы и взглянуть на другую сторону ее – было заветной мечтой его с тех пор, как он себя помнил, мечтой, которую он по сей день носил в сердце своем. Но времени на нее так и не нашел, а жизнь прошла. В сказках бабушки та сторона горы была землей дивов, обитающей джинов. Дедушка рассказывал о престранных происшествиях, случившихся в тех местах. С самого детства ему казалось, что по ту сторону горы начинается другой мир. Чем бы ни был тот мир, сном, мечтой или чем-то еще, он не давал ему покоя, как заклятие, волшебство, тянул к себе днем и ночью.

Старуха Сара плакала как ребенок, ей хотелось с воплем выбежать на улицу и поднять там шум: "Эй, люди, у меня на глазах смерть забирает мужа, удержать его не могу, идите помогите, не пускайте!". Но будто запечатан был рот ее, говорить не могла, слова вымолвить была не в силах.

Наутро старик проснулся затемно. Терпеливо оглядел двор, хозяйство, потом, распрощавшись с женой, с несвойственным возрасту проворством вышел за ворота и в один миг исчез, растворившись в утреннем тумане. Старуха Сара смотрела вслед ему так, будто был он птицей и вдруг упорхнул из рук.

Вершина горы утопала в синем-пресинем облаке. Он шел по усыпанному речными камешками склону горы, меж редких деревьев, направляясь к самой высокой точке ее вершины. В душу закралась мысль, что жизнь его будет длиться, пока идет он до вершины, дойдет до нее и все, по ту сторону вершины жизни больше нет... Поэтому долгий путь не пугал его, он знал, что жизнь будет продолжаться, пока тянется этот путь, и чем он длиннее, тем длиннее жизнь его.

Он шел по знакомым тропинкам. Дойдя до холодного родника, остановился. Соединив ладони, пил и пил родниковую воду. Поперхнулся, задохнулся, и ему показалось, что вода эта давным-давно минувших дней. На губах, во рту ощутил он вкус тех лет.

В войну Сары-киши в этих горах был лесничим. И тогда не нашел он времени взобраться на вершину; то работы было невпроворот, потом близнецов на войну забрали, думы извели.

Дорога эта для лет его была долгой. Старик, задыхаясь, одолевал подъем... Вот и плоский камень, он и не заметил, как, сойдя с дороги, направился к нему. Плоский камень был самым дорогим воспоминанием его жизни. Здесь играли они в "войнушку", за ним устроил окоп. И когда Сару украл, здесь сошли они с лошади, чтобы передохнуть. Сейчас старику вдруг захотелось вернуться в те дни. Хотелось, став ребенком, бегать по склону, собирая разбегавшихся ягнят. Хотелось, вскочив на гнедого с белым пятном на лбу коня отца Мирали, снова посадить Сару рядом с собою в седло вместе с медным кувшином и увезти.

Словно вчера все было. А как же прошедшие шестьдесят лет?.. Старик с такой тоской смотрел на камень, словно готов был съесть его.

... После войны стали забирать коней на мясо. Тогда забрали и коня Сары-киши вместе с жеребенком со звездочкой на лбу. Наутро старик слег. Сара взволнованно кинулась к председателю:

– Бессовестные, мужчина жизнь отдавал за народ, колхоз строил, бился за него, теперь же ему и одной лошади колхозной не дадут? Или вы убить его задумали...

Сара за руку потащила председателя к ферме и забрала лошадь с жеребенком.

Теперь, вспоминая это, память его ныла.

Внизу в овраге с шумом текла река. Он долго стоял, слушая шум воды. Если одолеет он перевал, что был впереди, этого шума уже не услышит. Нет, и этот звук не теперешний, он – шестидесятилетней давности.

Едва солнце скрылось за горой, стало темно. Из-за тумана, облаков на шаг впереди ничего уже не было видно. От холода постукивали зубы, грубую жесткую кожу лица будто алмазом резали. Руки заоченели, пальцы свело.

Набрав сухого хвороста, он развел огонь. Тепло потрескивающего костра согрело тело, уняло дрожь. С утра у него не было во рту ни крошки. Он достал завернутые старухой Сарой в полотенце хлеб, сыр, раздавил ударом кулака луковичу и с аппетитом занялся едой. Давно уже, со дня начала болезни, не ел он с таким удовольствием.

... После, засыпав сушняком костер, прилег на своем архалуке... Ему снилось, что везет он куда-то рядом с собой Сару. Рыжий конь идет нехотя, пощипывает пожелтевшую траву по обе стороны дороги. Ветер вдруг срывает с головы Сары платок и уносит его. Конь срывается с места и скачет вслед за платком. Сара обхватила его сзади. Он не решается пустить лошадь во всю прыть, так как в седле с ним девушка, и он боится, как бы не упала она. Ветер же просто сумасшедший, поднял платок высоко в небо, будто и не платок это, а белый аист летит в небесах. Сара торопит его:

– Сары, торопись же, это мой подвенечный платок, до сих пор его не надевала.

Платок в небе стал совсем маленьким, с листочек. Остановив коня, они долго смотрели на него. Конь ржал, бил передними копытами землю. Так ржал, так ржал, будто жилы ему рвали. От такого ржания он даже посерел... А потом по бокам у него выросла пара крыльев и, взмахнув ими, он полетел.

Нет, это был не сон. В лесной тишине ясно слышалось ржание рыжего коня. Это был он. Старик приподнялся и сел. Не сдержавшись, откликнулся:

– Эге-ге-ей!

Рыжий конь то ли услышал голос хозяина, то ли еще почему-то, заржал несколько раз подряд.

В лесной тиши ясно слышался лошадиный топот.

Рыжий конь мчался то туда, то сюда, видимо, не мог найти дороги.

Наконец, тяжело дыша, он пришел к хозяину... Старик, прижавшись морщинистым лицом к мягкой лошадиной гриве, плакал. Но это был совсем другой плач, старик будто и не плакал, а тихо пел печальным голосом.

Потом, все так же плача, развернул он полотенце, взял оставшийся хлеб и, разламывая его на кусочки, весь скормил с рук коню.

Ночь все тянулась тонкой кишкой, тянулась нескончаемо. Наступило бы утро и, нагнавшись вдоволь на волшебный мир по ту сторону горы, он повернул бы обратно вместе со своим конем. Но утро не наступало. Съжившись, он лежал у костра. Ему казалось, что все, что было до сих пор, было сном, странным сном. Он боялся лишь окончания этого сна, боялся, что когда-нибудь проснется.

Перевод Медины ЭЛЬДАРОВОЙ

Литературный Азербайджан – 2006. – №12 –

С. 57–68.

